

ЭЛИОТ, ИЛИ ЧУЖИХ ЛЕБЕДЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Книга учета

Большая тетрадь в твердом переплете, на обороте – выходные данные: Книга учета, 96 листов, КУ-4214. Что значит КУ? Не знаем, но учтем. Кукушка недокукукала. Кстати, на первой странице блестящей обложки изображен циферблат: без пяти двенадцать. Еще не ночь?

Третий год привожу эту тетрадь в Анапу – оставалась пустой. Ни стихов, ни прозы. Вот, начал потихоньку. Нечто конспективно-дневниковое.

«Бесплодная земля» Элиота – единственная книжка, взятая с собой на лето в этом году. Бывают странные сближения, уже не странные. Утром читаю:

А я удил над выцветшим каналом
За газовым заводом в зимний вечер...
(«Огненная проповедь»)

Вечером – ящик, старший инспектор Джепп в очередной серии Пуаро пеняет собеседникам в том духе, что пока они тут кайфуют на курорте, он там в Лондоне обитает у газового завода.

Что же тут странного? Элиот весь на этих связях-сближениях, и не он один. Модернизм не сравнивает времена и события, а вбрасывает их в один котел. Персонажи «Божественной комедии» ходят по берегам Темзы.

Элиот родился в 1888. В 60 лет получил Нобелевку. У нас в это время – 1948 – кампания по безродным космополитам. В мировой поэзии – торжество поколения Элиота, то есть Пастернака – Ахматовой – Цветаевой – Мандельштама.

Блок не знал Аполлинера, полного ровесника. Брюсов познакомился – через Лорансен – с Аполлинером в Париже (1909), приняв его за продвинутого книголюба, издателя эротической литературы прошлого и просвещенного собеседника. Ресторанно-богемное знакомство.

Удивительно не отсутствие личного параллелизма, живой синхронности развития, но вот именно при заочном наличии этого – единый вектор, общая тенденция: загрузка поэзии мировой культурой, уход поэтов в скрытые смыслы, работа на равного собеседника, элитаризация стихотворства – в общем, разочарование в читателе как таковом.

Элиот – сплошь проглоченные-пропущенные звенья. Иные свои вещи он объясняет задним числом, но и комментарии мистифицирует. Игра в кошки-мышки, издевательство, провокация.

Андрей Сергеев издал «Бесплодную землю» в 1971. Зенкевич и Кашкин в своей «великой антологии» (эпитет Сергеева) впервые представили Элиота и Паунда по-русски. Потом Паунд пал, кончив психушкой, молчанием собственным и вокруг себя. Элиота у нас разрешили раньше, чем Паунда, который попал в примечания сергеевского издания, сделанные В. Муравьевым, и в один из выпусков сборника «Запад – Восток».

Сергеевский перевод отчетливой звучит сейчас: после публикации оригинальных стихов Сергеева. Оказалось – там много своего: интонация, ход стиха.

Я впервые прочел Бродского в ленинградском «Дне поэзии» (года не помню), это был кусок из «Стихов на смерть Т.С. Элиота».

Томас Стернс, не бойся коз!
Безопасен сенокос.

Сергеев – прямой учитель Бродского. Когда они встретились (1964), Бродский читал американцев и англичан со словарем, был обворочен сергеевским Фростом, а сам чем-то походил на Э. А. Робинсона. Сергеев на практике содействовал Бродскому в его переводческих опытах, поставляя в Норенское соответствующие тексты. В большом объеме русский Элиот пришел к Бродскому через Сергеева еще до выхода «Бесплодной земли»: по рукам ходили сергеевские переводы, достигая Питера.

Так вот. Самоизоляция поэзии, что на Западе, что на Востоке, не мешала таким явлениям – на грани маскульта, – как Есенин, Маяковский или, позже, Ален Гинсберг (и вообще хиппи). Здесь же – наши шестидесятники.

Вознесенский балансировал, и вот итог: 75-летие прошло на волне попсы – хит из «Юноны и Авось» и «Миллион алых роз», то есть чужой строчки (из мандельштамовских «Стихов об Армении»: «Я тебя никогда не увижу») и, опять-таки, как хороши, как свежи были розы, то есть в принципе тоже чужого. Мятлев – Тургенев – Северянин.

Его юбилей, его вид и облик, его болезнь. Тяжко.

А тут еще и смерть Риммы Казаковой. Опять – песенки.

Блок не имел ни малейшего отношения к православию. «Тысячелетняя роза» (символ незримой церкви и Богоматери, католический символ) у Элиота в «Полых людях» – тому подтверждение.

М. б., исходя из элиотовской «Пепельной среды», стоит присмотреться и к можжевельовому кусту у Заболоцкого и Мориц, явно пошедшей за Заболоцким.

Вкладывал ли Заболоцкий в свой можжевельовый куст смысл, соответствующий библейскому? Пророк Илия, убегая от гонений, удалился в пустыню и, прося под можжевельовым кустом Господа о смерти, получил еду и питье, то есть жизнь.

Заболоцкий:

Можжевельовый куст, можжевельовый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

Мориц:

Один можжевельовый куст
Расцвел. Я услышала хруст.
Я только подумала: с неба?
И вдруг увидала сама,
Как мама сходила с холма,
Холодная, словно из снега.

Прямых отсылок к Библии нет, но речь о смерти, точнее – о смерти и любви. Не о том ли и Первоисточник?

Элиот обогащает библейский сюжет за счет Данте:

О Жена, белые три леопарда под можжевельовым кустом
Лежа в полдневной тени, переваривают
Ноги мои и сердце, и печень, и мозг
Череп моего. И сказал Господь:
Оживут ли кости сии? Оживут ли
Кости сии?

Жена равнозначна Беатриче. Данте пронизывает всего Элиота, особенно раннего. В XX веке это происходило со многими: Брюсов, Блок, Мандельштам, Ахматова...

Ахматова: «Данте всегда» (Записные книжки).

Напрасно многие отвергают Брюсова. Я обрадовался, прочитав в разговоре Бродского с С. Волковым: «Не стоит Брюсова сбрасывать с корабля современности». Воистину так.

У Липкина есть определение молдавского языка: ломовая латынь. Поскольку этот язык сотворили каторжане, Липкин проводит аналогию с блатной феней, лагерной речью. Мне кажется, Брюсов писал на своей латыни: русско-татарской, облагороженно-варварской. Он передал ее многим – Гумилеву, Мандельштаму, многим. У него в «Данте в Венеции» на вечерней улице «во мгле свободно веселился грех, бесстыдно раздавался женский смех» – и вдруг:

Угрюмый облик предо мной возник.
– Так иногда с утеса глянут птицы, –
То был суровый, опаленный лик...

Брюсов наверняка воспроизводит многовековую банальность: «орлиный профиль», которым возмущался и Мандельштам у Блока в «Итальянских стихах». Причем речь-то, собственно, лишь о взгляде: глянут птицы. Профиль возникает сам, не названный. Пример изящного ускользания от банальности в ее пределах.

Мое ничтожное знание English'a давало мне основания считать, что Элиот прошел мимо меня. Не совсем так. Оказалось, много запало. В подкорке все остается. Однако – невежество. Наше общее проклятие.

Был поэт Г. В., редактор «Совписа». Не без одаренности. В 70-х за цедеэловским столиком я ему рассказывал о том, что одна из его поэм написана трехстопным ямбом в духе «Летних записок» Пастернака. Для него это было полной неожиданностью, он признался, что подражал более опытному своему приятелю – Е. Е., тоже совписовскому редактору.

Более того. Он не знал, что такие жанры, как роман или новелла, пришли к нам с Запада. Редактор лучшего советского издательства.

В свое время судьба свела меня на короткое расстояние (на недолгий срок) с Н. Старшиновым, абсолютно обаятельным человеком. Я сделал о нем передачу для радио, для «Маяка», если не ошибаюсь. Я там, на радио, немного и нерегулярно подрабатывал. Помню свои передачи о Тряпкине и Боратынском. Кажется, было что-то и о Рубцове. Да, было.

Так вот, мы со Старшиновым временно сблизились.

Было – в 69-м, что ли, – всесоюзное совещание молодых поэтов, я в нем не участвовал, поскольку вообще нигде не участвовал, шатаюсь по Москве без прописки под открытым небом. Не участвовал, но ошивался в кулуарах. Мы со Старшиновым ходили по коридору ЦК ВЛКСМ, обсуждая онтологически глубокие материи: в частности, я спрашивал у него, зачем и для чего у человека растут ногти и ресницы. В общем, общались содержательно.

Однажды я похвалил Тарковского. Старшинов посерьезнел и сказал как отрезал:

– Нет, это литературщина, это вторично, и мода на него пройдет.

Круги пересекались, я не входил ни в один из них, пребывая на некоторой смутноватой точке их пересечения. Проще говоря, я поднимал рюмку и с Германом Плисецким, и с Петей Кошелем.

Во второй половине 80-х я был зван в редсовет издательства «Современник», где рядом сидели Шайтанов, Глушкова, Ю. Кузнецов, кто-то еще, но острых дискуссий не было, да и вообще споров не помню. Так или иначе, моя неславянская физиономия, кажется, не портила пейзаж. Издательство славилось, помимо общего консерватизма, отчетливым русопятством. Оно издало, напр., Мориц, но не хотело выпускать Олесю Николаеву, которой я попытался поспособствовать, но не был понят ни автором, ни издательством: рукопись ее мне дали заведомо на заруб – я порекомендовал застолбить в планах с условием доработки, и она действительно нуждалась в накоплении новых стихов, более самостоятельных и сильных. С автором у меня произошел нервный (не с моей стороны) разговор на ходу в ЦДЛ, а издательство, расстроенное моей рецензией, решило замариновать книжку, но этого не случилось: стиховой продукт в «Современнике» исчез вообще. Редсовета не стало.

Я пишу все это по утрам за кладбищенским столиком у надгробья грека Иоаниды. Старое кладбище обнесли металлической оградой, высокой, с цельными щитами, закрывающими море. Кладбище практически заброшено. Большинство могил разрушено. В Европе таких кладбищ нет – за место надо платить, за могилой следить.

Его пытаются прибрать, в смысле – привести в порядок. В результате уничтожили много зелени. Исчезли густые кусты роз, могучий чертополох, кое-какие кипарисы. Где будут обитать стрекозы, время которых вот-вот наступит? Не будет места и щеглам.

Столика тоже уже нет. Он подразумевается. Держу тетрадь в воздухе. Пишу по небесам – подо мной скала.

Сыпать именами тех лет бессмысленно. Их то ли нет, то ли не было и не будет.

Вечеслав Казакевич был. Был он белой вороной. Белейшей. На том фоне.

Я не знал, что он белорус из деревни. Комильфо, чист, ладен, опрятен, без тени агрессии, светлый взгляд, короткая стрижка с косым пробором. Пару раз побеседовали о несущественном.

Он исчез на десять лет, а то и больше. Вынырнул из Японии, где и застрял когда-то. Возможно, была в русской поэзии белорусская струя. Шкляревский, тот же Кошель, Казакевич.

Идя по здешнему бульвару, увидел на трубе нашей башни ворону. Хлопнул в ладоши – прогнать. Улетела. Оля, наша хозяйка, говорит: я люблю птиц всяких. Я говорю: лучше бы лебедь там сидела. Она вряд ли согласилась.

Дня за два перед этим на меня истошно кричали и пикировали на голову несколько бульварных ворон. Прикрывая голову, думал: за что?

А на набережной вновь стоит стенд с фотографиями ослепительных ню и местных видов. Там по-прежнему сидит старуха греческого типа, выжженная солнцем дочерна. Что-то вроде Мойры. Она сидит там с фотокамерой наготове и рыжим большим котом на коленях. В прошлом году она мне сказала о лебедях, зимующих в анапской бухте, в ответ на мой вопрос об их пропитании:

– Жрут что найдут!

Я остановился около нее. Говорит: было зимой 1000 лебедей. Говорю: я тут вчера видел четырех. Отвечает: вот посмотри фотки, каждая по 10 рэ. На глянце снимков кишат лебеди. Говорю: мне чужих не надо, хочу заснять сам.

Гречанка вспылила:

– Чужих лебедей не бывает!

Кюрю в уборной на нашей башне, глядя с третьего этажа в окошко. Метрах в ста от меня – недостроенный дом, в проеме окна, на подоконнике, сидит сиамский кот. Смотрим друг на друга. Пронзительно блещет на меня Сиамским заливом. Ну, думаю.

Здесь развелось огромное семейство кошачьих. Наводнили двор, лезут изо всех щелей. У нашей то ли Муси, то ли Пуси течка. Вообще-то их две: Муся и Пуся, мать и дочь, их не отличить. Мусю-Пусю отлюбили все коты в округе, кроме черного красавца, весьма мускулистого, боевого, но пропустившего свою очередь, – информация от хозяйки.

Коты постепенно рассосались. Сиамец сидит в той черной дыре.

Часа через четыре я выглянул в окошко – та дыра забетонирована. Нет дыры. Глухой квадрат.

Недострой на месте, все тот же, все то же, что и было, – кроме того окна. Ни золотистой шерсти, ни вызова, ни Сиамского залива, ни воспоминаний об утратах.

У нас был сиамец, женского пола. Мы нашли его на лестничной площадке, подброшенного, увечного котенка. Это была жалкая тень зверька. Вырос, воплотился, стал кошкой Настей. В пору любви она устраивалась на раме форточки и трубила в мировое пространство так, что мне было слышно, даже если я сидел на многокилометровом расстоянии в шуме и гаме Цветного кафе ЦДЛ. Ее у нас не стало по причине, покрытой туманом времени.

Утром смотрю – окно, там кот, днем – никого и ничего, глухой бетон. Как это?

Возможно, это был железнодорожный кот Элиота, вернувшийся в текст «Популярной науки о кошках, написанной старым Опоссумом».

Тысячелетний, вечный шелест моря. Ходим с Н. по дамбе. Всюду лазурь, в море, в небе, в воздухе.

В легком сердце страсть и беспечность,

Словно с моря мне подан знак.

Над бездонным провалом в вечность,

Задыхаясь, летит рысак.

Что открыл Блок? Свободу мысли. Свободу лирической мысли.

Бунин потому и не гений поэзии, что у него не было этого *провала*. Увы. Не достигал. Ругался он именно насчет этого провала.

Но мы с Н. говорим о слоистых скалах. Они перед нами. Абсолютно слоистые. Блок писал их – в «Соловьином саде» – долго, почти два года, вспоминая о Южной Франции, о местечке Гетари на Бискайском побережье Атлантики. Кажется единым выдохом. Ну да, как «Август».

Это цельные вещи, из единого пласта воздуха. Цельность – в едином метре, в нерасчленимой волне ритма, в четкой строфике и прочих средствах наследственного строя классической просодии. Рысак не задыхается.

Сюиты Элиота – монтаж главков, собранных по скрытому смыслу, заведомо дробных. «Бесплодная земля» была поначалу конгломератом разношерстных частей, при помощи Паунда организованных в поэму – за счет отсеечения лишнего. Элиот посвятил ее «мастеру большему, чем я». Категория мастерства привлечена как высшая оценка поэта, а не как нечто чисто механическое.

Ранние блоковские циклы («Кубок метелей», «Снежная маска») и «Двенадцать», поэмы молодого Маяковского и весь Хлебников – тот же метод и вектор, то же движение поэтического слова в пространство, освобожденное от пут формальных условностей. Дробь, расхристанный XX век тосковал по Слову.

Одежды белые, одежды света.
Приходят годы, возрождая
Сквозь тучу светлых слез приходят, возрождая
Звучание старинной рифмы. Испульенье
Времен сих.

(«Пепельная среда»)

Элиот: «Традицию нельзя унаследовать – ее надо завоевывать».

Две старухи в замусоленных халатах с ведрами, идя от мусорного бака, говорят о своем: Васька алкаш, а Варька опять родила, а Верка вот-вот концы отдаст.

Халаты в дырах, руки-ноги старух венозно синие, на одной – калоши доисторического образца. Местные. Они тут живут. Цветущая акация, небесные ласточки, дельфины в лазури – не для них, но принадлежат им.

Я перекасти-поле, нечто случайно занесенное ветром, меня с минуты на минуту сдует, смоев отсюда, ликвидирует как вид. У меня нет корней. Ни в Москве, ни во Владивостоке, ни на Лазурном Берегу, ни в Копакабане. Нигде. Плечусь неведомо куда, сбросив пакет с отходами своего существования в мусорный бак.

Советская поэзия?
А был ли мальчик?
В смысле – так ли звали мальчика?

Однажды я случайно заглянул в соседствующие на столе литбюрократы характеристики членов СП для оформления загранпоездок. Межиров значился «советский поэт», я – просто «поэт». То же самое и в одной из антологий, в библиоисправках.

То есть речь, кажется, шла о степени известности и масштабе. Никакого другого качества сюда не привносилось.

Вообще этого словосочетания – советская поэзия – при ее жизни для меня не существовало. Была поэзия. Просто. Без эпитетов. Или ее не было.

Это стихи – или не стихи?

Из воробьиного гнезда на мой балкон выпал трупик ласточкиного ребятенка – прошлогоднего. Там жили ласточки. Вытолкала его на моих глазах воробья. Расчищает жизненное пространство.

Так и лежит – кверху спинкой, голый, бесперый, розовый, с бельмами невозникших глаз. Или это воробьиныш? И я попросту сочинил сюжет? В любом случае – на моем балконе лежит птичий трупик, выброшенный из гнезда. Боюсь тронуть. Больше он смахивает на лягушонка.

Трупика был сделан гробик: пустая пачка из-под «Явы». Погребен у входа на кладбище, в начале ограды, под вторым цельнометаллическим щитом.

Марье Павловне (крещена в день святой Манефы) в октябре будет 90. У нее один глаз слеп – неудачно прооперирован, в уцелевшем глазу 20% зрения, тем не менее она видит меня, и мы через стекло окна обмениваемся знаками типа: ты домой? Нет, на улице.

Говорит, что когда молится за нас, видит наши лица.

В виду наступающей годовщины вспоминает: ей изменял муж. Прожили они 58 лет. Дочь утверждает: сама виновата.

Муж поэтессы обречен на особые отношения с женской поэзией и ее авторами. Я поневоле пристрастен к женским стихам и многое знаю о поэтессах. Кажется, Роберт Лоуэлл сказал о том, что поэзия есть познание в том смысле, как это писано в Библии: и познал Адам Еву. О том же, в сущности, Заболоцкий: «Поэзия есть мысль, устроенная в теле».

Марья Павловна в прошлом году подарила мне брошюрку о пророке Илии, из которой я узнал о дикой жестокости данного персонажа. Он уничтожал людишек тыщами за то, что не верили в его Бога. Родословие мое темно, я всегда знал об этом.

Бонмо от Марьи Павловны:

– Плетень не придавит, так бык обосрет.

Речь о непутовом человеке.

Рассказывала о себе, непутовой: вчера собирала во дворе ромашки, чтоб засушить для чая, а когда стала выпрямляться, голова закружилась, и она упала наземь.

Приехал художник Сергутин с женой, поселились они совсем рядом, за стеной. Мы с ним говорим о Сезанне. Меня интересует погода Сезанна. Много лет назад на курильском острове Шикотан грузнеющий живописец Корж, вылезая поутру из барака, хмуро от недосыпа говорил в необъятное серое пространство:

– Погода Сезанна.

И принимался яростно писать.

Сергутин изъясняется непросто, ибо преисполнен восхищения Сезанном. Я улавливаю лишь что-то о разложении света. Но больше поражает другое. Сезанн выходил на работу – на этюды – регулярно, не пропуская ни дня, когда стояла его погода. Он не изменил себе и в день похорон матери. На этюды пошел, хоронить не пошел.

Вот что такое погода Сезанна.

Алла С. была нехороша собой, не следила за ногтями, для общения выбирала привлекательных дам, в ЦДЛ редких, – дабы заодно с ними стать угощаемой галантными коллегами.

Писала она по преимуществу детские стишки, но и по-взрослому тож. Была у нее такая миниатюрка: «Что такое глухомань? / Это то, где много Мань, / это то, где мало Вань, / это то, где мало бань, / и над хилым колоском / в барабаны бьет райком». Было и такое произведение: «Любовники мои – полковники <...> / А он командует: ложись! / И я команду выполняю».

Нет, она не была распутницей. Но как-то призналась, что в свое время ею попытался овладеть суровый мастер С. Я., но у него ничего не получилось по причине алкогольного опьянения.

Она была доброй, безалаберной, гостеприимной. Ей предложил руку и сердце старый колченогий писатель, автор знаменитой книжки для детей о бароне Врунгеле. Несколько месяцев Алла провела в сомнениях, каковы кончились браком.

Никогда не понимал с железной твердостью этих межировских строк:

Ах, можно быть поэтом

Не зная языка,

Но говорить об этом

Еще нельзя пока.

Это сказано в плоскости вавилонского столпотворения по поводу Останкинской башни.

Сейчас я, собственно, читаю не Элиота, а Сергеева. Это мое возвращение долга ему, некогда не прочитанному как следует. Он отнюдь не самый близкий мне поэт. Но меня давно гнетет факт непрочитанности этого поэта и многих других. Не прочитано и время, мной прожитое. Не прочитано и недосказано.

Володя нашел меня сам. Он не искал меня, но, услышав за столиком в Цветном кафе мое имя, названное кем-то из собутыльников, сказал, что в данный момент ему на рецензию дана моя рукопись. В «Молодой гвардии» она лежала давно в смутном ожидании своей судьбы.

Володя был высок, золотоволос, кудряв, синеглаз, есениноподобен, да и родом из Рязани. У него были манеры бывалого человека, он и был таковым: как минимум одна тюремная ходка. Хулиганство. На зону он ушел из Литинститута, где обучался стихосложению. Кажется, вина его не была доказана, или он взял на себя чужую.

У него были жалетели и опекуны, по освобождении из лагеря он был устроен в отдел поэзии respectable журнала.

Стихов он уже не писал. Помимо основной журнальной службы подхалтуривал на внутреннем рецензировании. Вечера просиживал в ЦДЛ, по ночам играл в карты по-крупному.

Тимур Кибиров в свое время должен был вручать премию Антибукер – Максу Амелину. Не пришел. Вручил я.

Чухонцев поддержал выдачу премии «Поэт» для Тимура, вряд ли чересчур близкого ему. Есть разница?

О, это роение вокруг стихов людей, любящих стихи, людей, отвергнутых стихами. Минное поле, поле Куликово. Полегли многие. Несть им числа.

Еще живые, мы лежали вповалку бок о бок на матрасах, тесно набросанных в пустующей комнате литинститутской общаги. Я не учился в том вузе, но некоторое время обитал на ул. Добролюбова, в семиэтажном кирпичном доме, видевшем многое и многих. Матрасы понатащили отовсюду, из других комнат, сгрудили и расстелили, без белья, без подушек и одеял.

Шла сессия, что ли. Съехались заочники из провинций, досдавать экзамены, ликвидировать хвосты, восстанавливаться и проч. На матрасах возлежали Толя, Сашка, Витька и буйный Митрошкин. Возлегая, бегали за водкой. Ночами брали у таксистов, дежуривших под общагой.

Толя имел кличку Бенья, в середине его фамилии было «бен», а родился он в Биробиджане. По этажам он ходил в трусах и пальто. Он был симпатяга.

Однажды ночью, одевшись, он пошел пешком на Тверской бульвар – сдавать экзамены. Его вели голоса, несущиеся из бездны звездного неба. Остановившись где-то на Каляевской, он осознал: ему надо к Кашенко. Он туда отправился и был принят.

Витька все время молчал, изредка роняя по-иностранному: битте-дритте.

Я лишь пару-тройку дней повалялся на тех матрасах, очухался и вернулся в комнату, выданную комендантом общежития нам с Н. Утром заглянул застенчивый Коля Рубцов. Я был в тельняшке – и действительно: я недавно прилетел в Москву напрямик из Охотского моря. Мы поговорили о море, о Колиной службе на Северном флоте. Но он, собственно, зашел за трешкой, каковая и была ему выдана. В долг, разумеется. Без отдачи, само собой.

Дело, увы, упиралось в деньги, Коля как раз не валялся на тех матрасах, а вот Сашка из Новосибирска разлагался там, однако деньги свои, сумму круглую, сдал на хранение моей Н. Деньги у них там, на матрасах, кончились, и меня вызвали на разговор. Сашка, Витька и буйный Митрошкин лежа смотрели на меня волками, требуя денег. Я сказал, что не дам. Потому что видел: Сашке этого не очень-то и хотелось. То есть хотелось, да не очень.

Сашка с белыми глазами покрыл меня последними словами. Буйный Митрошкин – черная челка нахось, борода торчком, прямой ушкуйник – поднялся меня бить. Этот Митрошкин был известен тем, что когда-то послал телеграмму в то ли краевую, то ли районную газету – о своей смерти, и там был напечатан некролог с крокодильими слезами. Он потом, через годы, покончил с собой, выйдя из окна на 10-м этаже.

Драки не случилось: я ускользнул. Поздно вечером я сидел на седьмом этаже у Миши Асламова из Хабаровска, учившегося на Высших литературных курсах, мы пили чай. Зашел Сашка, стал плакать и просить у меня прощения, я простил, он выпил чая и ушел. Немного погодя, уже глубокой ночью, в дверь постучали, влезло лицо Рубцова: Миша, пойдём пошепчемся. Миша вернулся обескураженный, я спросил: что такое?

– Просит одеколону.

Сашку с Витькой я нашел в первой половине 60-х во Владивостоке по письму от Ильи Фонякова из Новосибирска. Илья писал: у вас там служат на флоте два талантливых поэта, найди их.

У нас там была своя кучка абсолютных гениев, и эта парочка сибиряков вписалась в нее не сразу. Матросы Плитченко и Болотов сначала не могли не вытягиваться по стойке смирно перед капитаном медицинской службы Кравченко.

Они приходили ко мне, сбрасывали форменки, облачались в штатское, шлялись по улицам. Мои рубашки подходили обоим. Их печатала краевая комсомольская газета. Я составил книжку Сашки для Дальиздата, и она вышла.

Мы были как братья, а с Сашкой в молодости были похожи и внешне. Оба они происходили из деревень, у Витьки сказано: «Мой дед был деревенским мудрецом». Кажется, он родился где-то на Урале, потом оказался в Сибири, а после флота уехал в Пермь.

Конечно, короткостриженный парень во флотских башмаках и штанах с медной бляхой, с наброшенной на все это пестрой ковбойкой внушал подозрение патрулям, но дело сходило с рук. Как-то Сашка загостился у меня с ночевой, его посадили на «губу» (гауптвахту), и я навестил его, как Белинский Лермонтова.

Лет через десять, отъездившись и хорошо женившись, он прилетел по делам в Москву и в ресторане ЦДЛ говорил мне:

– Что ты тут делаешь? Уж лучше быть первым парнем на деревне.

У Витьки во Владивостоке обнаружилась сестра, мы с ним отыскали ее далеко на окраине, на мысе Эгершельд, в деревянном домишке, и там объелись омулем, присланным из Сибири. Омულ вонял. Он и должен быть с душком, но его передержали.

Проблема была в том, чтобы из увольнения вовремя являться в часть. Мы сидели с Витькой в редакции «Тихоокеанского комсомольца», былолюдно и дымно, Витька осоловел, одеревенел, стал говорить нехорошие слова в мой адрес, поскольку я настаивал на его возврате в часть. Я вызвал такси. Он ни в какую. Его слова приобрели совсем плохой оттенок. Пришлось ударить его по челюсти до полуночкауна, засунуть в машину, дать денег шоферу и указать адрес части. Он ничего не помнил потом, я не напоминал.

В Перми у него посмертно вышла книга, говорят. Там его помнят.

Виктор Болотов, начало 60-х:

Каждый день у меня умирают стихи,
От великой любви умирают,
От высокого горя,
От подлой тоски –
От всего, от чего умирают.

Он жил тихо, печатался редко, угас без шума. В Березниках намеревались поместить его имя на Аллее славы, в соседстве Пастернака. Не знаю, произошло ли это, информацию нашел в Сети.

У Плитченко сложилось по-другому. После нескольких посещений психушки он круто завязал, сделал литкарьеру, занимал некие посты в местном отделении СП и журнале «Сибирские огни», обильно издавался, превосходно переводил сибирских аборигенов, берег и лелеял семью, но как-то, в какой-то черный день сорвался, запил – сердце не выдержало.

Александр Плитченко, начало 60-х:

Ой, как резали быка.
А пока не резали,
Два ножа,
Два мужика,
Грелись в доме трезвые.
Ой, как резали быка...
А пока грелись,
Как орал он в облака
И бодал
Рельс.

.....

Как зарезали быка –
Снег теплее мака.
С полотенцем в руках
Заплакала мама.

В издательстве «Прогресс – Плеяда» недавно вышла книжка для детей – авторы В. Белов и Н. Рубцов. Я редактор этой книжки. В ней соединены беловские «Рассказы о всякой живности» и некоторые рубцовские стихи. Все это ярко проиллюстрировано художником Антоном Куманьковым.

Жил художник Юрий Князев. Жилистый, усатый, горбоносый, худой, русский, неопределенных лет, но вроде бы участник войны в качестве юнги, о чем сам он не распространялся. У него не было художественного образования, не было и дома, мастерской не было, работы его и его самого хранил Витя Шлихт, сам ютившийся в подвальчике Дома культуры железнодорожников, где вел изостудию.

Мы с Юрой шли по утреннему Владивостоку, на пути нам попалась бывшая часовня, что ли, ее осколок, превращенный во что-то вроде энергоподстанции, с побеленной лепной кудрявой головой ангела в нише. Юра сказал:

– Ленин в детстве.

В то утро при нем был Хайям, в кармане задрипанной куртки. Бывал при нем и Камюэнс. Того и другого он цитировал при случае.

В то утро он проснулся на плоской крыше здания на ул. Баляева, где находились художественные мастерские. Ночь он провел так, что его ноги свисали с крыши восьмиэтажного здания. Я обнаружил его там, и мы пошли пешком по утреннему Владивостоку.

Он писал маслом, а в то лето – акварели и всяческую графику. Был у него графический цикл на тему морского дна – нечто орнаментально-сказочное.

Жил он по-своему тихо, ни во что общественное не лез, частенько отсутствовал, и о нем ничего не было слышно месяцами. Вдруг – скандал. Кого-то он побил, что-то там не то сделал, ему грозил срок. Надо было спасать. Я написал и тиснул в комсомольской газете, где меня временно держали в литотделе, заметку о нем, дав репродукцию морского дна: крабы, звезды, морские цветы – красивая вещь.

В редакционную дверь постучали. Вошел невысокий русский человек с бородкой.

– Где мне найти Фаликова?

Познакомились. Василий Белов. «Привычное дело», бестселлер тех лет. Белов проходил переподготовку – так это называлось – во флотской газете «Боевая вахта». Он хотел найти Князева. Тот обретался в тягулке. Пару раз мы с Беловым пересекались на улице, перезванивались на предмет Князева.

Юру убили ночью на ул. Русской под кафе «Ромашка» лет через десять. Убийц не нашли.

Прошло время, Белов зачем-то заехал в литинститутскую общагу той ранней осенью, когда кипела жизнь на матрасах. Естественно, он обошелся без оной жизни, но как-то ранним утром несколько человек, в том числе Белов с Рубцовым, отправились на ул. Руставели, где была столовка.

У крыльца столовки стояла лошадь с телегой. Белов отделился от нас, потрепал лошадь по морде и остался с ней разговаривать, пока я и другие пошли по пиву.

Все не случайно. Морское дно, Юра Князев и лошадь. Все не случайно.

По ящику недавно показывали Белова, которого чествовали в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. 75 лет. Ветхий беленький старичок, пораженный хворьями. Его подвели под руки в первый ряд Зала.

Из него хотя бы сделать если не М. Горького, то М. Шолохова наших дней, все по колодке, как в былые времена, когда в литературе или, скажем, в науке (академик Лысенко, академик Марр, академик Виноградов, ну и так далее) должен быть свой Сталин. Национальный лидер.

Вознесенский и Белов. Тяжелое зрелище. Что-то обрушилось на обоих берегах общей реки, и река ушла в землю. Бесплодная земля? Нет, что-то сделано и останется. Но сейчас это выглядит так.

На Пречистенском бульваре появился памятник Шолохову. Он, в бронзе, сидит в бронзовой лодке на некоем каменном треугольнике, за ним – каменная же река, а то и океан, откуда торчит двадцать одна конская голова. Мой брат Борис и моя Н. в один голос верно подметили:

– К Шолохову подверстали Слуцкого. Чтоб никому не было обидно.

Синтез. В Анапе есть заведение «Шашлык-хаус», название ласкает глаз. Впрочем, на Арбате есть «Кебаб-хаус». Никаких цивилизационных проблем.

Думаю, из этой же оперы и словечко *волкособ*, что означает помесь волка с собакой. Прочел в местной газете «Черноморка».

На бывшем доме Моссельпрома висит доска в честь академика Виноградова. Там еще недавно, на самом верху, была мастерская Ильи Глазунова. Маэстро время от времени прохаживался в задумчивости по моему переулку – Моссельпром смотрит на мой переулок.

Но я о другом.

Рассказывают, в доме Моссельпрома, населенном важными людьми, после войны обитал поэт Семен Гудзенко, который был женат на чьей-то высокородовитой дочке из этого дома, и когда поэт за полночь приходил в подпитии, его туда не пускал милиционер, постоянно стерегущий драгоценный подъезд.

Образ поэта в чистом виде. Его положение в мире, под звездным ночным небом.

Мы не от старости умрем, от старых ран умрем. Какие там старые раны? Гудзенко, когда он умер, было тридцать. А раны – старые. Им тыща лет. Поэт таким рождается. Он написал, что выковыривал ножом из-под ногтей чужую кровь. Об этом и речь.

Попутно говоря, дом Моссельпрома претерпел непростую историю: в 1913 году он рухнул по причине нерадивого строительства, за что архитектора Н. Д. Струкова наказали шестинедельной отсидкой в каталажке.

Дом, в котором я живу, тоже ничего себе. На нем пара бронзовых досок – драматурга Б. Ромашова и немцев Фридриха и Конрада Вольфов, отца и сына, писателя и кинорежиссера, сведенных на совместной доске. Здесь же, в этом доме, вырос и брат Конрада, сын Фридриха – Маркус, будущий глава Штази.

Когда я в Германии рассказал об этом факте одной пожилой фрау, она вскрикнула почти радостно:

– Мишка!

Однако в доме моем жили и Книппер-Чехова, и академик С. Соболевский, и драматург Вишневский, и литератор Гайдовский, тоже по преимуществу драматург. Я прочел сочинения всех экс-соседей, специально посещая на сей счет Ленинку.

Особенно меня интересовал Гайдовский, поскольку он выстроил мою квартиру: дом был кооперативом драматургов, собравших складчину на него в начале тридцатых. Драматургам, собственно, принадлежало два этажа, насаженных на уже существующее трехэтажное здание конца позапрошлого века, сделанное по проекту В. П. Загорского, которому принадлежит архитектура Московской консерватории. На третьем этаже, прямо подо мной, жил художник Корецкий, сталинский лауреат, известный плакатами военной поры. Пару раз заглянув к нему, я видел на стенах много живописи, видимо, невостребованной.

Многие в доме были лауреатами, но не Николай Гайдовский. У него были славные вещицы в прозе, написанные в молодости, но потом он, как почти все, мимикрировал, стал катать худосочную халтуру для сцены. Исключение – большая очерковая книга о войне: о боях за Севастополь, где он был военным корреспондентом.

Он умер задолго до нашего вселения, и въехали мы на пепелище: тут доживала вдовица Гайдовского, бедствовала, делала шляпки на продажу, одиночествовала – ее не сразу нашли мертвой в ванне. Квартира была разрушена целиком, пришлось делать все, начиная с проводки.

Мы обнаружили множество шляпных булавок, старых журналов мод, еще дореволюционных, кое-какие фотографии прежних жильцов – в том числе молодого Гайдовского в форме царского офицера. Были и рукописи, в тетрадях и разрозненных листах. Встал вопрос: что с ними делать?

У Гайдовских существовала племянница, женщина пожилая. Мы позвонили ей. Она подъехала, бегло осмотрела наследство и пообещала взять рукописи несколько позже. Мы ждали около года. Бесплезно звонили наследнице. Скрепя сердце я отнес бумаги в мусорный бак. Шла перестройка, в баке ночевал бомж, я сложил бумаги к его голове.

Прости, собрат. Моя книга учета весьма похожа на то, что ушло в тот мусорный бак.

Надо объясниться насчет нашей анапской башни. Речь идет о двухъярусной надстройке над старым домом, в параметрах около 10 метров вширь и чуть больше ввысь, из крупных серых

кирпичей, с двумя полукружиями балкончиков на втором и третьем ярусе. Слово этаж я употребляю из уважения к слову башня, которое сильно хочется употребить в видах самоуважения.

Сам дом, на котором мы двухъярусно держимся, состоит из нескольких комнат, в которых я никогда не был. Во дворе есть летняя кухня и еще какие-то апартаменты, в этом году занимаемые накачанными джигитами из Дагестана. Я называю это базой отдыха. Ребята приветливы.

Имя улицы – Крепостная. Здесь проходил крепостной ров старой Анапы, то есть она тут кончалась. За ним и было кладбище, ставшее старым. Здесь же были, говорят, Пиленковские винные подвалы – по имени основателя русского виноградарства в сих местах генерала Д. В. Пиленко, первого начальника Черноморского округа, деда Лизы Пиленко, в будущем Е. Кузьминой-Караваевой, матери Марии.

Теперь все это вписано в город, это самый центр города. Станным образом я всегда жил в центре города – что во Владивостоке, что в Москве, что в Анапе. У меня теперь три этих города, в Анапе за десять летних лет накопилось не менее двух лет календарных, стаж какой-никакой. С местными здороваюсь, старые знакомые. Один здешний алкаш, залив глаза, так сказал, когда я прошел мимо, не уверенный в том, что он меня видит:

– Что не здороваешься, столько лет вместе.

Мистер Анапа. Где он?

Цитата из бесплатной газеты «Твой успех», по субботам лежащей на подоконнике магазина «Магнит», входящего в сеть «гиперсемейных супермаркетов»: «В этом году Краснодарский край собирается принять 17 миллионов отдыхающих. В Сочи планируют посещение 5,5 миллионов туристов, в Анапе – 4 миллионов».

Тут теперь все пахнет миллионами, в том числе денег, отпущенных на Олимпиаду. Миллионы были и раньше. Берег завален человеческими телами, ступить негде.

Высоченный, под два метра, атлет, широк в плечах и груди, тонок в талии, птицеликий, нос с горбинкой, чистый грек, он высился над миллионами. Форма одежды – трусы спортивного типа. Гол и бос с утра до вечера. На утренней заре он уже шел с пляжа, с мокрой головой, поигрывая мускулами, в сопровождении беспородного кабысдоха, тоже мокрого. Вечерами, набросив на шею золотую цепочку, торчал на набережной, облепленный нереидами в газовых саронгах. Он был везде. Куда ни пойдешь – он. Он стал для нас Мистером Анапа.

Как-то он гонял в футбол с пацанами на зеленой опушке нашего бульвара под ликующий лай своего кабысдоха. Как-то я увидел его на Арбате, около ресторана «Прага», в огромном, докрасна желтом кожаном пальто. Он озирался по сторонам: куда пойти?

Мы почти здоровались в Анапе. Он был везде и всюду. И вот – его нет. Где он? Спросить не у кого. У него нет имени¹.

Обытовление Библии, рождественской темы в частности, – у Элиота, у Пастернака, у Бродского. Реализация (ореаливание) сакрального.

Не исключено, что Пастернак знал «Паломничество волхов» Элиота (1927). Речь о «Рождественской звезде» прежде всего. Там и там дышит ужас вселенской катастрофы, холод смерти. Бродский в рождественских стихах отталкивался, уходил от Пастернака, учитывая Элиота. Элиот не входил в переводческий круг Пастернака. Но Стокгольм-48 не прошел мимо внимания ни Пастернака, ни Ахматовой. Сэр Исайя Берлин не мог не коснуться в разговоре с ААА таких фигур, как Элиот и Паунд. Ахматовские записные книжки пестрят именем Элиота, она не раз цитирует строку «В моем начале мой конец» (In my beginning is my end), которую сделала эпиграфом ко Второй части «Поэмы без героя», благодарит Бродского за «Стихи на смерть Т. С. Элиота» и за сам факт приобщения к Элиоту (и Дж. Донну), хвалит Наймана за элиотовские переводы. Элиотовская подпитка шла к ней от молодых, но интересно, что впервые имя Элиота и та самая цитата возникли у нее – в размышлениях о Гумилеве. Кстати, она постоянно поругивала Элиота за его верлибр, считая, что именно от него пошла эта мода на слишком свободный стих.

Телеграмму из Лондона в поддержку Пастернака (1958) в числе прочих подписал Элиот. Пастернак в одном из писем О. Фрейденберг сетует, что он виноват перед Элиотом в том, что, получив от него книгу, никак не отозвался. Позже Пастернак напишет ему. Не знаю, был ли ответ.

¹ Только-только просмотрев этот текст по возвращении в Москву, вышел на Арбат. И что? Поигрывая мышцами оголенных рук, идет Мистер Анапа.

В упомянутом письме О. Фрейденберг Пастернак вопрошает: «Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных?» Пастернак ошибается. Не «препятствие крови и происхождения» всему причиной. Он сам, весь, целиком, был чужим лебедем. Оно «препятствие» лишь элемент рокового диссонанса. Хотя надо учитывать: шел 1949. Безродных космополитов еще отлавливали вовсю.

Библейский быт – в самой Библии, в ее хлебе и вине, в европейской живописи, в «Жизни Иисуса» Ренана, в «Иуде Искариоте» Л. Андреева. Да мало ли! Кинематограф XX века приземлил библейскую историю до уровня натурализма, сверхкровоавого у того же Гибсона в его «Страстях Христовых». Искусство упирает прежде всего на страсти Иисуса. Иконописные жития святых – сплошь труд, страдания повседневности.

Марья Павловна, утепленная зеленым стеганым халатиком, сидит в белом пластмассовом кресле на солнышке. Она читает книгу.

– Что читаете?

– Псалтирь.

Марья Павловна кивает на свой дом, сидя в двух шагах от его крыльца:

– Там – мрак, а тут – свет.

Оля, хозяйка башни:

– Жил тут один, у него была одна рубашка, он стирал ее в море, сушил здесь во дворе, но пил только хороший коньяк. Люблю пьющих мужчин.

Огромный памятник Ленину в начале бульвара. Вокруг него затянущаяся стройка чего-то вроде цветочной клумбы. Дева лет тридцати, верхом на стоящем мотоцикле, кричит в мобильник:

– Кому дала? Кто дал? Ты чо? У меня вообще ничто ни трется между ляжек!

Выслушав какой-то ответ:

– Нашла что вспомнить!

Дул ветер, сосна за окном махала длинной ветвью – как при расставании, и я внезапно понял строки Есенина, известные мне сто лет:

Цветы мне говорят прощай,

Головками кивая ниже.

Сдается, античность вообще пришла к Бродскому от Элиота, хотя, разумеется, столь любимый им XVIII век отечественной поэзии плюс Боратынский, не говоря уж о Серебряном веке, – достаточная почва для этих интересов.

И все-таки.

Камень, бронза, камень, сталь, камень, лавры, звон подков

По мостовой.

И знамена. И фанфары. И столько орлов.

Сколько? Сочти. И такая давка.

.....

Идут? Пока нет еще. Только вдали орлы. Да еще фанфары.

Вот они. Наконец. А он?

Природное бодрствование нашего Я есть восприятие.

Мы можем ждать на стульях, держа сосиски.

(«Кориолан»)

Державин так не думал и не говорил. Но смешение времен – не эксклюзив Элиота. См. Мандельштам. Напр., «За то, что я руки твои не сумел удержать...»

Да простят меня позднейшие переводчики Элиота. Повторяю, у меня тут происходит диалог больше с Сергеевым, нежели с самим Элиотом. Кроме того: именно Сергеев, а не Зенкевич и Кашкин, как ни весомо значение их трудов, наложил Элиота на сознание читателя и пишущей братии в объеме как минимум тридцати – сорока последних лет.

Странности продолжаютя. Здесь, в башне, обнаружился том Некрасова, составленный Старшиновым. От составителя рассказано, что их простонародная семья читала стихи русских поэтов за чистым столом после ужина: многих, и особенно много Некрасова.

Ничего подобного не было у нас дома. У нас на хромой этажерке почти не было книг. Но был патефон, была Русланова – «Меж высоких хлебов...» Мать в застолье рыдала, надрывно подпевая плакучей пластинке.

Я открыл старшиновский том сразу же на «Похоронах», то есть «Меж высоких хлебов...» Я не знал названия этой вещи, а ведь не раз читал глазами.

В том тексте, что стал песней, выкинут важный мотив: бедный стрелок был охотником, приехавшим на охоту в те места. Некрасов явно подразумевает самого себя.

Русланова пела: «Протекал небольшой ручеек», отменяя авторскую строку «Где прошел неширокий долок», повторяемую в концовке. «Долок» не ложился в песню, но для Некрасова он крайне характерен, ср. «На диво слаженный возок».

Долок. Я пленился этим словцом, а в ушах звучит «ручеек». В итоге теперь у меня есть долок, по которому протекал ручеек.

Но что же читали в той семье из Тютчева и Фета? Отчего же, при таком раннем знакомстве с тончайшими маэстро русского стиха, Тарковский для Старшинова оказался автором, мода на которого пройдет? Загадка. Но небольшая. Еще Ильич писал о двух культурах на Руси. Даже общая школа фронта не сводит людей, выросших на разных полях культуры. За мнением Старшинова стояло бесчисленное множество стихотворцев средней руки, не обязательно чересчур завистливых.

Я особенно любил Тарковского при его первом возникновении в качестве оригинального поэта (книги «Перед снегом», «Земле – земное»). Знал его наизусть. «Степная дудка», «Фонари», «Марина стирает белье...», «Юродивый в 1818 году», «Кухарка жирная у скаред...», «Елена Молоховец», «Переводчик»... да мало ли еще что. «Фонари» вытеснили блоковский фонарь.

Хорошо помню 1 июня 1980, день похорон. Цветочник из южан, у которого я брал четное число роз, удивился:

– В такой хороший день?!

В Москве буйно и везде цвела сирень. Потом мне кто-то сказал, что эта сирень – ложная, не знаю точно, что это такое, но эта московская сирень – не вполне настоящая.

В переделкинском храме и на кладбище было многолюдно. Свеча в моей руке почему-то погасла до времени. В гробу лежал величественный шамхал дагестанского Тарковского княжества. Вдову над гробом трясло, ее поддерживали. Свечу я принес домой и, поставив в стакан, дождался ее догорания.

Я проморгал 100-летие Тарковского. Не перечитал, не вернулся к нему. Но каждый раз, когда – изредка – открываю его книжки, ловлю себя на прежнем чувстве привязанности к этим стихам, к его облику, голосу и манере вести себя. Меня не смущают нынешние сообщения о странностях его натуры. Больше задевает массмедийная подача поэта в качестве приложения к звездному сыну.

Интонация Тарковского никогда не пройдет. Историческая память, диктовавшая ему стихи, – самое бесценное, что вообще есть в русской поэзии.

Интернет-кафе к моим услугам, захожу ежедневно минут на десять, в основном на предмет почты. Корреспондентов у меня мало, среди них Гр. Кружков. Мы шутокем. Я, напр., наверняка исходя из тяжких самоинвектив, сообщил ему о том, что виртуозное мастерство старого поэта нужно младому племени поэтов и читателей приблизительно так же, как разминающийся поутру на пляже мускулистый мухомор – возлежащим девушкам, от раскаленных ягодичек которых пышет таким жаром, что на лету сгорают чайки.

Ответ был таков дословно: «Илья, я сочувствую твоим страданиям. Но, в конце концов, ты же не чайка, чтобы сгорать на лету от упомянутого тобой жара. Тебя должен сжигать совершенно другой пламень, понимаешь? Я имею в виду жар вдохновения. Предоставь другим жарить яичницу на прекрасных ягодичках. А ты сосредоточься и напиши стишок».

Как раз в июне он был зван в Стокгольм, на какую-то конференцию. Информация как информация, кроме одной детали: в Стокгольме он зачем-то взял мою книжку «Ель», которая ему «очень нравится». Я задумался. «Ель» вышла в 82-м. Я кое-что накатал и потом.

Где-то в мае он позвал меня в РГГУ, на свой семинар: посеять разумное, доброе и вечное. В университетской комнатке сидели три девушки. Одна из них была беременной, ее клонило в сон, голова ее то и дело падала на грудь. Рассеянный профессор не заметил этого, как выяснилось потом.

В своей большой книге «Ностальгия обелисков» Кружков высказывается в том смысле, что акмеисты, вышедшие из лона символизма, проделали двоякую работу: 1) заземлили воспарения предшественников («объективный коррелят» Элиота) и 2) со временем усложнили поэтический код, по сути будучи истинными символистами без котурнов. Их антисимволистский бунт длился недолго. Он цитирует Мандельштама: «несогласный на хоровод покидает круг, закрыв лицо руками». Поэт выстраивает башню, иногда из брошенных в него камней (Ахматова). Кружков проводит аналогии с поэзией Запада, прежде всего со своим любимцем Йейтсом. Напоминает о «Стихах на смерть Т. С. Элиота», о том, что там предугадано: смерть в январе, которая настигла Йейтса, Элиота и Бродского, намертво связав их тройной рифмой.

Все это очень зорко и умно, но у меня остается ощущение, что Кружкова несколько смущает факт усложнения поэтического шифра, – или я ошибаюсь? Но что было, то было, и от этого не уйти.

Что касается американцев, мне жаль, что в русском читательском сознании Лонгфелло ограничивается «Песней о Гайавате»: Кружков в свое время великолепно перевел поэму «Эванджелина», достаточно крупную. Гекзаметр.

Читателя стихов нынче чуть не сдуло. Кто он, неясно. Похоже, он сам поэт. Иные авторы пишут самокомментарии. Такова наша ситуация: провиденциальный собеседник воплощен непосредственно в авторе. И то дело, есть с кем поговорить.

Назвать бы все то, что мной здесь написано, так: «КУ-4214». Непонятно, но что-то значит и имеет некоторое объяснение.

Некрасов проделал ту же работу, что и акмеисты: опредметил абстракции, спустил поэзию с неба на землю. У него не слишком много основополагающих мыслей, составляющих пафос (по Белинскому). Страдания народа, образ матери (у Пушкина с Лермонтовым этого не было), собственное поведенческое двуличие, судьба падшей женщины, женская самоотверженность вообще, чистота детей, тлетворное дыхание городской цивилизации, мощь и красота русской природы, одаренность народа, певучесть его песен.

Сугубо стиховых идей было больше, но «Мастерство Некрасова» Чуковского уже написано, и повторяться нет смысла. Сейчас меня опять поразила его метрическая изобретательность и виртуозность рифмовки.

Эстетизм Серебряного века впитал некрасовские достижения вполне осознанно. Некрасовская Муза была чем-то вроде кормилицы, о которой не обязательно рассказывать, но которую помнят все ее выкорышки. Тем не менее Андрей Белый, посвятив «Пепел» памяти Некрасова, совершил дерзость. Привел в салон дебелую девку с улицы, попросив обнажить грудь. Многим понравилось.

«Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную». А ведь на Сенной били кнутом – гулящих. Некрасовская Муза – проститутка? Выходит так. Ни в средней, ни в высшей школе нам об этом не рассказывали.

Его тоска по Лермонтову неутолима. В молодости – «Колыбельная», в зрелости – «Элегия», то и другое – «Подражание Лермонтову». Да, не Пушкин даже, а Лермонтов был тем идеалом высокого поэта, которого он не достиг, и всю жизнь мучился по этому поводу.

О нем можно сказать то, что Солженицын сказал о Ельцине: «Слишком русский». Переизбыток исповедальности, слезы в три ручья, много-много слов. Любовый поэт, слишком прямой, слишком пафосный. Но другого Некрасова у нас нет. Однофамильцы вытянули из настоящего Некрасова лишь одну обиду: меня не поняли.

Все меняется. Поздний Бродский в разговоре с С. Волковым: «Фрост более глубокий поэт, чем Элиот. От Элиота можно в конце концов отмахнуться. Когда Элиот говорит, что “ты увидишь ужас в пригоршне праха”, это звучит в достаточной степени комфортабельно. В то время как Фрост бережит читателя. Внешне Фрост прост, он обходится без ухищрений. Он не впихивает в свои стихи обязательный набор второкурника: не ссылается на йогу, не дает отсылку к ан-

тичной мифологии. У него нет этих цитат и перецитат из Данте. Элиот внешне затемнен, поэтому он избавляет читателя от необходимости думать».

Это усталость от самого себя прежнего: античная мифология, цитаты-перецитаты из всего на свете и проч. Но и объективно, по-видимому, это так. Сейчас Элиот позволяет некоторое облегчение внимания к его вещам, поскольку многое стало расхожим и никак не ошеломляет, как это было раньше. Сергеев, которого иные собратья-переводчики уличают в засушивании переводимых оригиналов, в случае Элиота действительно, может быть, более академичен, нежели этого требует живая поэзия. Но колоссальное мастерство имеет место, и от этого не отмахнуться. По мне, живой всего дышат Элиотовы баллады, зарифмованные, исполненные нерва в пределах традиции.

Гиппопотам широкозадый
На брюхе возлежит в болоте
Тяжелой каменной громадой,
Хотя он состоит из плоти.

Живая плоть слаба и бренна,
И нервы портят много крови;
А Церковь Божия – нетленна:
Скала лежит в ее основе.

(«Гиппопотам»)

Море очеловечено: немерено человеческой плоти на береговой кромке. Шибает потом, перебивая запах моря. Я опять остановился у стенда старой гречанки. Попытался дознаться: почему же летом отсюда улетают лебеди? Она опять вспылила:

– Да какой дурак тут останется? Столько людей! Отсюда даже чайки улетают!
Разговор окончен.

2008